

АНДРЕЙ АНТИПИН



ТЕПЛОХОД “БЛАГОВЕЩЕНСК”

РАССКАЗ

1

Жара...

В голубой полуденной одыме видится: сжатые упругими, ветром и дождем до костной белизны вымытыми пряслами, уронили зеленые языки перестоялых трав давленники-луга. Земля выжжена и обезвожена так, что, мнится, кузнечик, прыгнув с травинки на поле, способен поднять облако пыли. Лена усохла, укатилась, стала болезненно мелкой, выставив к небу ожоги опечков и ребра брустверов. На дворе первая неделя августа, а лиственница в лесу уже наливается осенним воском, вянут листья на березе и осине, ртутными столбиками горят ветки краснотала в скособоченных поймах высохших ключей и задыхающихся родников. В огородах поникла осыпавшимися розами цвета картофельная ботва, пожухла капуста, закручинились морковь и свекла в бетонной корке земли, которую то и дело протыкают острой лучинкой деревенские бабы, чтоб овощ вконец не загинул.

Все жаждет дождя! Давно все грабли обращены зубьями к синему небу, а вилы опущены в воду: так, по примете, в старину ворожили ненастье. Но из района летят и летят безрадостные сводки. Повсюду пылают лесные пожары, и деревню затягивают удручливо-сладкие запахи дыма, кипящей смольем хвои и пыхающего в огненной полыми березового листа. Раза по три на дно пролетает низко над землей оранжевый вертолет, осыпая Подымахи-

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикации с 2004 г. в районной печати и в журнале “Сибирь” (с 2006 г.). Живет в поселке Казарки Усть-Кутского района.

но белыми бумажными агитками “Берегите лес!”. Листовки тут же уходят по назначению: ребятяня делает из них самолетики, старухи собирают для всякой хозяйственной нужды, а черные подымахинские старики, рассевшись по тенетам, мастрячат из них злые самокрутки. Когда же земному терпению приходит конец и усталый, с сведенными в скобку на подбородке черными усами директор, пыля на своем “бобике”, объявляет об очередных неутешительных сводках из района, старухи, словно по тайному сговору, выволакиваются из своих изб. Торжественно, точно это сверху ниспослана им особая миссия, семянят к реке, отирая на ходу запылившиеся по амбарам иконки Николая Чудотворца и Марии, матери Божьей.

— Я как полы в избе помою, у меня иной раз порожек отсыревает, — для проформы беседуют о пустяках старухи, возбужденные предстоящим таинством. — Вода закатится под порог, и другой раз высохнет, а когда стоит болотом. Я на доску-то ступлю, и если брызнет с-под порога — быть дождю! Вот сколько раз так было, — божится рассказчица. — А нынче уж два раза брызгала и ничего.

— А у меня если коска заболит на руке, вот в етим месте, — старуха показывает на изгиб кисти, — то дождь пойдет. — И кивает, убеждая, седой головой.

Скинув под угором яркие, узлом завязанные на лбу тонкие платки, старенькие платья в зеленых пятнах от свежескошенной травы, легкие, уже почти исчезнувшие из употребления чирки, старухи лезут с иконами в воду.

— Баба сеяла горох и сказала деду: “Ох!” — пробормотав детскую считалочку, старухи разом уходят по горло в воду.

Они смеются, охают, кричат, толкают друг дружку на глубину. Тут как тут и ребятяня: стоят поодаль, удивленно свистят в мокрые ноздри, никак не решатся подойти поближе к старым бабам, которые еще полчаса назад гоняли их крапивою от малинника, а сейчас барахтаются в реке, бесстыдно выставив на обозрение всему свету желтые животы и квелые, словно брусника в ноябре, старушечьи груди. С угора глядят на старух любопытные старики — они, ребяятишки да еще старухи остались в августе в деревне, — срамят для потехи, отвлекают от священнодействия.

— Загребай ловчей, Анна, шер-руди лопшойкой, шер-руди! — подначивает старик Иванов, далеко раньше времени записавшийся в ряды подымахинских старожил. — Во! Отгребись от берега подальше и заводись. Да шпонку не сорви... эх! Куда тебя кренит-то?!

— А ты пошто оробел нынче? — в тон ему отвечает белозубая бабка Аня, подымахинская ворожея, инициатор купания с иконами. — Пошел бы да поддержал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка Настасья, отчаянная матершинница и единственная среди старух курильщица, черная, как баргузин:

— Ты за чего печалишься, девка?! — Бабка Настасья на время застывает недвижно в воде, долго, тая лукавую улыбку, смотрит то на Иванова, то на Анну. — Он имана своего в руках не удержит, не только што...

— Шмеля тебе под подол, старая, за твой говенный язык! — обиженно откликается Иванов и лезет в карман за куревом, откусываясь от насмешек стариков.

— Нырай, Настасья, топориком, да Миколу не потони: Бог враз пензии лишит! — чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по случаю субботы.

— Сам не потони!

На то старик Шишкин степенно отвечает:

— Тебе-то што? Легла на грудя — и пльви хоть в Якутска...

Откупавшись, оmyв иконы да сотворив с перебивами подзабытую молитву, собранную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи тащатся домой, устало хлопая мокрыми ногами в кожаной обуви. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками с зажатыми между жестких пальцев сигарками.

А дождя все нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

Спину и плечи жжет так, что слезы выступают на глазах от боли. Я то надеваю рубашку, то снимаю ее. В рубахе жарко, а без нее туго: оводы-плевки осаждают открытое тело, красными волдырями вспучиваются укушенные места, в чуть кровоточащие ранки попадают пыль и пот, волдыри огнем горят и предательски чешутся. А тут еще мошка не дает жизни. У меня все глаза красные — мошка то и дело забивается под воспаленные веки, и я тру глаза кончиком рубахи или наслонявленным пальцем. Да только это все бесполезно. Едва вытащишь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже сидят все три. До чего ж много мошки на Лене! Чуть поднимешь граблями сохнувшее сено, как тут же кипучей тучею взвивается в воздух гнус, и глазам делается темно. Тогда хочется упасть лицом в мураву, зарыться с головой в рубаху и лежать, не шевелиться. Но лежать нельзя: после обеда будем метать сено. Его много навалили за последние два дня в три литовки дед, отец и мой старший брат. Сейчас косы лежат в кустах, их работа покамест окончена. С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, добили оставшиеся полянки, полные густой, высокой травы, спутавшейся и завалившейся набок. Теперь осталось только высушить да спуннить скошенное и, в общем, с косьбой на Дресвяновом лугу покончено. Но уже завтра-послезавтра мы уйдем ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в култуке ждут не дождутся осока и длинные будыльба белого осота, который мы косим скоту на подстил. Это, пожалуй, самая трудная работа. От нее тупеют косы, точно они сделаны из жести, а руки, ворочающие тяжелую, всегда как будто мокрую осоку, вспухают жилами и “вытягиваются”. От одной этой мысли у меня темнеет в голове. Хоть бы дождь пошел! Но на чистом, безветренном небе нет ни единой тучки. Небо прозрачно-голубое, и только полосками золотой фольги блестят в нем солнечные лучи. Вот высоко над лесом возникает ясный, точно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба; птица некоторое время скользит по небосклону, но попадает в солнечную клетку и, ослепленная, застывает в воздухе...

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули ливневые дожди, вспучили Лену, по-весеннему захлестнувшую паберегу и поля. Разбушевавшимся потоком подмыло и унесло копны и зароды, что стояли под угором у реки. Несомое сено застревало на затопленных брустверах, цеплялось за бакены, разматывалось по прибрежному ольховнику, упругие ветки которого стальной щеткой торчали над глинистым срезом воды. Плевались в рваные тучи старики, когда, словно черные трупы неведомых огромных животных, пронесило мимо Подымахино добротные копны сена, а угрюмое воронье, рассеявшееся по выковырянным рекой остроинам, замогильным карком тревожило синюю даль берегов. Нежданная мокреть, как наказание небесное, многие семьи заставило взяться за нож и порезать оставшуюся без прокорма скотину. Многие дворы и по сей день не очухались от прошлогодней беды, тут и там стоят нынче некошенными зеленые луга. Наше сено стояло ближе к лесу, языки воды едва-едва приблизились к зародам, когда небо разъяснело и пенистая бурлина послушно утекла обратно в русло. Однако дождями, лившими почти две недели, прохлестало все ж таки наши копны, как бы ладно они ни были завершены. Мы отложили косьбу и принялись разбирать и сушить порченное сено, а потом заматывать его вновь. Всех чертей обругали, когда с тяжелыми навильниками на плечах, оступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали копны на угор в опаске повторного наводнения. Много сена погнило, да и то, что удалось спасти, не имело былой свежести и завлекательности. У меня до сих пор на памяти запах гнили и прелости, но я ничего не могу с собой поделать: гляжу и гляжу на небо и жду хоть какой-нибудь весточки о предстоящей непогоде.

Рядом орудет граблями мой дед. Ему уже под семьдесят. Колючая, с отчетливыми проблемками седины щетина покрыла черные от солнца и старости щеки. Голова не то чтобы лысая, а жидковолосая: как овцу, остригла его тетка офомными железными ножницами, какие в старину ковали в кузницах на долгие века. “Тут иман, там иман!” — встретила стариковскую

стрижку бабка. Вот дед останавливается, кладет грабли на землю и достает из кармана кусок наволочки. По-старушечьи обмотав им голову, продолжает работу. Гребет не спеша, степенно и с величайшим знанием дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет тени и солнце жарче, и все строго в линию, вдоль Лены. Такие валки удобно потом собирать: зайдешь с одного конца, уткнешь вилы в сухую, лопающуюся от легкого нажима траву, и толкаешь в кучу, пока, как говорит дед, “из заду не подается”. Временами старик с отчаяньем трет глаза и почему-то материт правительство. Мне это забавно, хотя и непонятно. И вот уже рот мой открыт в смехе, но тут же, как ленок, ловлю пригоршню неробеющей мошки, кашляю, плююсь и замолкаю. Я-таки поглядываю на старика в надежде, что мошка заест его до полусмерти, и он объявит привал (командует на сенокосе дед), но старик, как железный, шерудит и шерудит граблями, чуть слышно бормочет что-то, и мои упования умирают.

— Дед, а дед?

— Ну-у?!

— А почему луг называется “Дресвяный”?

— Потому что деревня тут стояла раньше, — после продолжительного молчания негромко отвечает дед, запямятовав, что и вчера и позавчера я уже спрашивал его об этом. — Деревня-то и называлась Дресвяная... — Дальше этого понимания мысли старика не распространяются, и он замолкает.

— А деревня — почему называлась Дресвяной? Может, как раз наоборот: деревню так называли, потому что луг — Дресвяный?

— Ладом валы переворачивай, — диктаторски говорит старик.

— А почему яма называется “Сенькина”?

— Потому что Сенька возле этой ямы сено всю жизнь косил, — не переставая работать, говорит старик, и сказанное им также мне хорошо известно. Только для меня уже не важно, что какой-то Сенька косил там зеленые хлопья пырея. Сенькина яма для меня — это яма возле бревна, достопамятного только потому, что два года назад я убил на нем спящую гадюку. Но именно поэтому и через двадцать, и через тридцать и даже спустя сорок и больше лет я буду помнить и всеми позабытого трудягу-косаря, и полусказочную деревню, и своего дедушку, который поведал мне о ней наперед всего и всех. История окружающего мира начинается для меня с гадюки.

Подальше, у кустов, гребет отец. Он раздет до пояса; спина, мокрая от пота, блестит на солнце, точно натертая свиным салом, ремешок, подпоясав штаны, засох и скоробился от пота, брюки в белых пятнах — то сохнет на солнце человеческая соль. Вчера я насчитал на спине у отца семь плевков. И хотя до него далеко, я не вижу, но думаю, что и сейчас не меньше. Только он, кажется, и не замечает их, гребет и гребет, лишь по временам прекращая свою работу, чтобы протереть залитые влагой очки. У отца получаются самые большие валки. Он ценит все прочное и державное. Он видит в этом залог счастья и благополучия. Дед же видит в этом халтуру и, брызжа слюной, объясняет нерадивому, что толстые валки не просохнут. На мгновение закипает перепалка, но тут же заканчивается: жарко. У отца в руках грабли — только медведю работать с такими. Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворенные под высохшую стариковскую руку, отец через день-другой попросту крушил.

— Сдурю знашь че можно сломать? — вручая граблищи, спросил дед глобокомысленно.

Хрясь! Сухой треск! Отец зацепил грабли за ветку смородинника и сломал деревянный зуб. Дед громко матерится:

— Ми-и-ша-а! Наладь этой чуме грабли, у меня уж сил нет глядеть на все это!

Вот и появилась минутка для отдыха. Можно посидеть, посмотреть, как брат Мишка выстругивает ножом из сухой щепки зуб и забивает его на место сломанного.

— Потянет! — Мишка подает отцу “вылеченные” грабли. — Ты это, папая... это ж тебе не борона!

Мишка старше меня на десять лет. Он только минувшей зимой вернулся из армии. Два лета Мишка не косил сено, наскучал этим нехитрым крестьянским занятием и теперь работает в охотку.

Мишка самостоятельный человек, что хочет, то и делает, и даже дед ему не преграда. Захотел высморкаться — пожалуйста, бросил грабли и трещит попеременно из каждой ноздри.

— После картошек пойдем с тобой на Талую...

Забыв и о жаре, и о гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово. Какое лето мы собираемся пойти рыбачить в верховье речки Королихи, которая не замерзает даже зимой и зовется стариками “Талая”, да только дело всякий раз заканчивается разговором. Одно время я был слишком мал, чтобы осилить с лишком тридцать километров таежного бурелома, но вот я подрос (глядите, как я подрос!), а Мишку как раз и забрали в армию на полтора года. В последнее время нам мешает не одно, так другое. Иногда я вижу во сне: черный ломовой хариус сыграл на самолично мною вязанную из оранжевой шерстяной нитки крохотную, с черными усами из ондатрового волоса мушку, которую у нас рыбаки называют “морковкой”.

— Хариус с ленком в конце сентября скатывается в Лену, — говорит дивное Мишка и берется за грабли. — Покараулим на ямах с удочками...

— А из ружья дашь стрельнуть?

Я замираю от собственной наглости, затаив дыхание до того, что, кажется, даже мошка отступает от меня в удивлении. Осторожно, страшась своего ожидания, выманиваю взглядом у брата, чтобы поперед слов он ответил мне глазами. Облегченно выдыхаю сперший грудь волнительный ком, когда Мишка утвердительно кивает головой. Даст стрельнуть из настоящего ружья! Я стискиваю челюсти, чтобы не зареветь на весь луг в первобытном восторге и, не дай Бог, не попасть под гребенку деда.

3

От ручья идет-прихрамывает по дороге дядька Николай — средний дедов сын. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кислицы, а после обеда помочь сметать сено. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро на землю, а сам садится в тенок под кусты. Замираем с граблями в руках. Молчим. Ведро у дяди Коли крепко-накрепко обмотано куском старой простыни, который он всякий раз берет с собой по ягоды. Однажды, возвращаясь домой с дальнего черничника, дядя Коля поленился привязать тесемочкой крышку горбовика, а на спуске с хребта оступился, полетел вниз по тропе и рассыпал в заламах почти всю четырехведерную торбу. Теперь дядька осторожничает, и даже когда идет по грибы, прихватывает тряпицу, чтоб обвязать ею ведерко. Ягоды не видно, но по тому, как вздулась кверху простынка, можно догадаться, что ведро полное. Выдержав торжественную паузу, дядя Коля, наконец, снимает с ведра тряпку, словно занавес открывает. Полным-полно ведро красной крупной смородины, а ведь и двух часов, наверное, не ходил! Дядя Коля умеет брать ягоду. Даже удивительно, как с такими огромными, как у него, руками можно так быстро работать. Сколько я ни пробовал, не мог обогнать: у дядьки уже почти полведра, а у меня едва закрывает донце.

— Па-а-рит се-го-дня, — размеренно протягивает дядя Коля, вытирая кепкой пот со лба.

— Сорок два в тени, — заявляет осведомленный отец. — Что ты хочешь? Сводка пришла — сорок пять ожидается.

— Сколь? — переспрашивает дед.

— Сорок пять!

Дядя Коля сокрушенно качает головой.

— Чокнешься!

Я упал под куст черемухи и оттуда равнодушно слежу за разговором.

— Да не в том дело, что чокнешься, — сердито поучает дед. — Картохе наливать надо, а земля — пыхун. Что мы исти зимой будем? Вот кака потеха!..

— Так вот в чем и дело, — вздыхает дядя Коля. — Хлеб на корню осыпается — Сергей Петрович говорил... — Внезапно он оживляется: — Городские накатили! Мужик с бабой и ребяташки ишо. Мужик-то с пацаном рядом с машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кусту... Помнишь, Миш, мы там брали ягоду с тобой, года три, однако, назад? Где Юрьев-то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу! — Дядя Коля загода смеется. — Смотрю: идут. А на кусте я-а-га-ды-ы! Красно! У меня уж почти полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услышала, тянет мать за рукав: ну, мол, пойдем назад... — Дядя Коля высморкался. — А эта нет, прет! Я пуще трещу ветками и носом — швырк! — швыркаю громко. Они: медведь, медведь! Па-ле-те-е-ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади нее! А я ведро добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля довольно смеется, скалит белозубый рот.

— Уехали? — спрашивает дед.

— Кто?

— Городские-то. Про кого говорим?

— Уехали.

— А машинешка какая у них?

— “Нива”. Красная...

Дед иронично сплевывает себе под ноги.

— И машина у людей есть, по какой, спрашивается, им эта ягода? — Дед никак не может этого понять. У него не укладывается в голове. — Или брали бы тогда где-нибудь поближе, неужто нельзя? А то за сорок километров едут. А бензин сколь стоит?! Где, интересуюсь, люди деньги берут?

— Так вот в чем и дело, — соглашается неохотно дядя Николай и громко зеваает. Дед с недоверием смотрит на него.

— А как оне на этой стороне реки оказались-то?

— На вертолете перелетели! — подначивает любопытного старика Мишка. — Привязали машину стропою...

— Да брось ты, Миша! — обижается дед. — Я же ладом спрашиваю...

— Ну, по мосту переехали! “Как?” — главное... — сердится дядя Коля. — В Усть-Куте мост есть через реку!

4

...Грабли то и дело валяются из рук: занемевшие и ставшие как будто мертвыми пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания древко.

“В сущности, в чем дело? Кто я такой тут есть? Взять и уйти...”. Сначала меня брали на сенокос убирать из травы нанесенное половодьем хламье, потом — чтобы стерек лодку, когда уходили косить далеко от реки, в тот же Култук или к ручью, затем вручили вилы — “Раскидывай валки, чтобы просохли!”; прошлым летом я дослужился до граблей... Нынче весной я воровски заглянул под высокую крышу амбара и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают с поветей, как деревянные сосульки. Мою ершовую душонку настолько поразили несметные богатства старика, что я стал искать пути для его раскулачивания. И вот на вечер перед сенокосом непреклонный дед, подточенный моим нытьем и неустанными просьбами бабки, извлек из амбара маленькую литовку и под пристальным вниманием двух замороженных глаз насадил ее на косовище.

— Где у тебя пуп?

— Там же, где и у тебя! — со смехом ответил я глупому старику.

Дед посмотрел на меня так, как если бы жаль ему стало для меня косы.

— Я ладом спрашиваю! — сурово сказал старик, отводя в сторону глухаринные брови. — Так же и отвечай мне... А ну-ка!

Давясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, аккуратный старик подогнал березовую рукоятку точно с моим пупком вровень и застопорил бечевой.

— Учись, Андрюха, пока дедушка жив. Отец-то у тебя... только с порфельчиком по деревне и бегать... — Дед незлобно выругался.

— А не надо писать? — насупившись на необразованного старика, я решительно вступился за отца. Вечерами, когда мать процедит молоко, отец, постелив на стол газету, сидит на кухне, опустив кудрявую, первым снегом припорошенную голову, и что-то царапает на листке бумаги, наутро через знакомого шофера передавая написанное в городскую редакцию.

— Не знаю... Поможет это деревне, што ли? Когда — всё... — Старик взглянул на меня, как на взрослого, и я волей-неволей съезжился под этим тяжелым проливным взглядом, гулко заколотилось в ребра испуганное сердце. Не дождавшись ответа, дед неуверенно замолк и опустил на корточках отбивать литовку...

— Ну, косарь, косарь, ети вашу мать! — смеялась бабка, когда на другой день со сверкающими, точно камешки слюды, глазами я пошел на покос, по примеру старших небрежно закинув литовку на плечо. Затворяя за нами ворота, в пришепоток наставляла напоследок старуха, зная, что на лугу никто словом не поможет, скорее подзатыльников наваляют: — С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от себя — и пошел, пошел! Главное, не торопись. Литохка — она сама косить научит...

Я был поручен Мишке, поскольку своего бруска мне не доверили (“Лапы обрежешь!”), и лопатить мою литовку должен был брат. Для начала мне выделили несложные загончики: обкосить у кустов, потом вдоль дороги, — и я исправно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало кривое лезвие косы. Только недолго длилось мое счастье. Пару раз засадил косу в землю, а дед уж на попятную:

— Добрую литовку угробишь! Никого в дедушку нет... — И отобрал косу.

А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как добрые люди делают, и оттого лезвие вязала прошлогодняя поздняя трава, затаившаяся в новой как груды свалывшейся проволоки. Отец вон сколько кос переломал, пока косить выучился... Как бы там ни было, но вот я снова приставлен к надоевшим граблям, время от времени получая разрешение сделать прокос-другой. Но только, конечно, это совсем не то, что иметь собственную косу.

“Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет тогда? Дед, наверное, так заорет, что в деревне повесятся собаки...”

5

В обед старик прислоняет грабли к березе: все, шабаш. Швырком бросаю своих деревянных мучителей на землю и лечу к реке, на ходу скидывая с себя одежду и проклятые сапоги.

Легкой, долгожданной прохладой объемлет вода мое тело, когда, как в голубой сугроб, ныряю с разбега в прохладную Лену. Ухожу в воду с головой, чтобы сразу сбить с себя течением пыль и пот. До чего ж хорошо! Чтобы понять мои чувства, нужно полдня простоять на лугу под раскаленным солнцем, обгореть до малиновой красноты, пропотеть, забить глаза, нос и уши сенной пылью, до крови расцарапать все тело, которое жалят пауты, — иначе не поймешь.

— Кто без штанов бежал в кусты? — кричу восторженным горлом соседнему берегу, и берег отвечает длинным “Ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!”. Я хочу крикнуть: “Кому не спится в ночь глухую?”, но к реке так некстати приходит отец.

Первым делом отец полощет рубаху и носки, потом только лезет в воду. Стоя по пояс в реке, тщательно моет лицо, шею и живот, на котором в густой поросли волос застряла сенная труха. Смыв первую грязь, отец тяжело оседает и плывет, размеренно, как лось.

За отцом ковьялет к реке дед. Старик становится на корточки, черпает ладошкой воду и, как котенок лапой, моет голову и лицо.

— Хорошо, бляха! — блаженно кряхтит и для полноты ощущений сплевывает в реку. — Ты, Андрюшка, далеко не заплывай! Ишо захлебнешься...

— Ну, закаркала ворона! — раздраженно отзывается отец, поворачивая к берегу.

— Я не каркаю, я знаю, што говорю! — осекает старик. — Воронка или мало ли че? Мне девять лет было — засосала, родимая! Спасибо, ребята постарше на берегу были — вытащили. С тех пор...

Заплываю так далеко, что не слышу голоса старика. Только по отчаянной жестикуляции с берега догадываюсь, о чем кричат. Отвернувшись, плыву дальше, обмирая от страха и восторга перед голубой манящей пропастью под ногами. Выхожу из воды только тогда, когда отец надевает высохшие на камнях, точно на углях, рубаху и носки, а дед нетерпеливо маячит у костра.

После купания особо ощутимым становится голод. Кажется, что стрескаешь целого поросенка — и не заметишь.

На угоре, под раскидистым кустом ольхи, сколочены из досок стол и лавка к нему. Второй лавкой служит здоровенный листовничный болван, несколько лет назад приплывший с большой водой, да так и оставшийся тут, завязший навеки в упругих кустах корявой вершиной. Этот болван во всякое половодье защищает наш стан от других проплывающих топляков, заодно славливая всякое другое хламье, которое мы потом употребляем на дрова. С одного конца в бревно вбита стальная бабка, на которой отбиваются косы, а другой весь в расщепе — здесь рубятся на растопку словленные доски. После сытного обеда на ливтяке можно даже полежать — уж так он могуч и широк.

Прихожу к костру, когда все уже в сборе. Тучные дед, отец и дядька сидят на бревне, мы же с Мишкой устраиваемся на лавочке. На столе лежат свежие огурцы, перистый лук, хлеб, сало, отваренные яйца; стоят баночка с творогом, кастрюля с тушеной картошкой — все, что дают нам двор и огород. На сенокосе мы себе не готовим, чтобы не терять времени, все это приготовлено и собрано добрыми руками моей бабушки. По старой привычке, может быть, известной человеку с момента его появления на свете, сперва разглядываем яства, словно прицеливаясь, и лишь потом, не сговариваясь, начинаем есть. Старшие едят быстро, особенно дядя Коля. Только и брызжет с уголков его рта зеленый сок сочного ботуна. Но уж в чем, в чем, а в этом я преуспеваю не хуже дядьки и быстро, едва прожевав, орудуя ложкой и руками — иначе ничего не достанется. Дед меня всячески поддерживает:

— Ешь, Андрюха, а то пырка не вырастет!

Когда животы набиваются донельзя, на столе, как чумазый хан Батый, появляется закопченное ведро чая. Мы разливаем черный напиток по кружкам, от кружек ударяет душистым запахом смородины: дядя Коля постарался, набросал листьев. Вслед хлебу-салу приходят пряники и конфеты. Отец довольно потирает вспухший сытостью живот:

— Как раз осталось немного места для сладостей! “Орехо-со-е-вы-е...”

После обеда с полчаса — отдых. Можно бы, конечно, поспать, но вот удивительная вещь: еще час назад я и думать об этом не смел, а сейчас сон и силком не заманишь. Дядя Коля сидит за столом, отец с босыми ногами — на земле, дед, треща ветками, исчезает по нужде в кустах. Все молчат, думая о чем-то своем, каждый, наверное, радуясь короткой передышке в этой жизни. Только Мишке не сидится, и он принимается загодя отбивать литовку: тюк! тюк! тюк! Тюканье молотка кажется чем-то неземным в эти минуты тишины и покоя.

Тюк! Тюк! Тюк!

Отбив литовку, Мишка ловко правит ее брусом. Дядька, равнодушно наблюдавший за ним, словно просыпается.

— Это (забыл, в каком году? в семьдесят восьмом, кажись?) приехала из города бригада студентов помочь колхозу сено косить. По пабереги тоже; ну, кусты, вымоины — тракторами-то не скосишь... Я на “сто тридцатом” работал тогда, ага. Привез одну партию — несколько парней — сюды вот, на Дресвяный. Тут тогда дьяшка Никанор был за главного у них, ага. Ну, отбил он им литовки, спрашивает: лопатить-то, мол, умеете? Все покачали головой, а один дурачок выскочил: че там, мол, не уметь?!

Дядя Коля сплонул в сторону.

— Но, дашка Никанор дал ему брусок: на, дескать, лопать. Тот взял. Косу правильно, косовищем в землю, воткнул, да надо было аккуратно, а он — р-р-а-аз! со всего маха! — и два пальца на руке срезал до самых костяшек! Заорал, правильно, кровица полилась... Ну, чума чумой!

Возбужденный воспоминанием, дядька еще раз сплевывает и с осуждением качает головой. У меня же от его рассказа что-то как будто отрывается внутри, я в страхе смотрю на Мишкину литовку и тут же прячу руки в карманы брюк.

— Ягода-то еще есть по ручью? — приковылял из кустов дед. — Не всю еще вырвали?

— У, есть! Полно! Хоть каждый день бери.

— “Каждый день”! — вспыхивает дед. — И брали бы, дак сахар-то сколь рублей стоит? Варенье жрать не захочешь, не только што... И почему это за ценами никто не следит? — тоном прокурора вопрошает старик и строго смотрит на нас. Я трушу его грозного взгляда. — Это куда дело годится? Каждый вертит, как хочет, а об стариках никакой думы нет...

— Кто на седнишний день смотреть за этим будет? — вступает в разговор отец. — Частное предпринимательство! Рынок! — заканчивает раздраженно, ударив ребром руки по железной кружке.

— Это раньше другое дело было — все государственное! — зевая, подерживает дядя Коля. — А щас!

Деда эти доводы не устраивают. Он наливает из ведра чаю, но оставляет кружку в сторону.

— А вы по какой тогда нужны? Зачем мы вас с баушкой кормили-ростили?! За-а-чем? — срывается на дряблый крик. — Скажите мне?!

— Ну, политикан, ну, завелся! — нервничает отец. — Не хочешь жить — ложись и помирай! Так на седнишний день.

— Во-во! — машет дед костлявым кулаком. — Такие вот дуролобы и загонят Россию в гроб!

— Кто загонит?!

— Да хватит вам! — осаждает спорщиков Мишка. — Заорали! На той стороне слышать...

— Ты, Миша, только послушай, что она говорит?! — Дед, чтоб уязвить сына, сознательно отзывается о нем в женском роде. — Ложись, говорит, дедушка, и подыхай! А что я жизнь в поле проработал, в холоде, в пыли, катаракту нажил, геморрой заработал? Это им наплевать!

Отец, не найдя что ответить, хмыкает, а дядя Коля тихо дремлет, по-сусличьи пузыря полные щеки. Деда это молчание только раззадоривает.

— Вы посмотрите, сколь мука стоять стала! Как раз половина моей пенсии куль! Да каждый торгаш по-своему цену гнет, все выгоду ищет. Стариков обманывать, у нищих из котомки воровать! Это куда дело годится? А я этот хлеб своими руками ростил! Неужто мне теперь и слова сказать не можно в свою же защиту?!

— Ты лучше спроси, как мы сено нынче вывозить с этой стороны будем. Машину найми, бензином заправь, в совхоз за путевку на паром уплати, да капитану литру поставь, плюс на стол собери... — Отец еще и еще загибает пальцы. И объявляет: — Золотое молоко получается!

— Скоро ничего не будет! — зло восклицает старик. — Большемудрый доведет страну до окончательного развала! Горбач начал, а этот прикончит. Помянете потом меня: скажете, правильно нам говрел дедушка, только мы, полоротые, не слушали его...

— Ну, завел панихиду!

— Я знаю, что говорю. Троха пол-эсэсэра прошел, Троху шиш обведешь!

Сраженный стариковыми доводами, отец опускает голову, глядит под ноги:

— Да... Конец деревень приходит! Поставили крестьян на вымирание.

Щас еще введут земельный налог — и все...

— Взрывать! Швырнуть бомбу в эту Думу, чтоб не изгалялись над народом!

— Какой смысл? Большевики уничтожили царизм — и что? На смену одним дармоедам пришли другие. Так же и здесь... Еще одну революцию устроить хочешь? Мы от первой еще не оклемались...

— Я никакую революцию городить не буду! Просто швырну бомбу — и все....

— И что ты этим скажешь? Тебя же, учти, к ответу призовут.

— Пускай призовут, пускай! — старик поспешно поднимается на ноги, как будто готовясь прямо сейчас держать ответ. — Спросят меня: ты зачем, дедушка Виталий, таку комедию устроил? А я им отвечу!.. Ты бы, Саня, об этом мог написать, знаешь ведь...

— А что толку писать? Что толку взрывать? Придут другие и вовсе потом всех задавят. Только терпеть — а как больше? Нужно переждать, пока само собой не рассосется. А орать и взрывать ничего не даст. Кто тебя слушает?

— Ну, сидите-сидите! — иронично поддакивает дед. — Я посмотрю, што вы завтра жрать станете. Камни собирать пойдете! До каких пор эта потеха продолжаться будет, что всякий у тебя последний кусок вырвать норовит?

— Долго еще будет! Пока каждый депутат себе особняков не понастроит да в зарубежные банки денег не напярчет, из нас кишки тянуть будут.

— Во-во, правильно ты говришь, Саня! — радостно соглашается старик. — И я говорю: скинуть бомбу с самолета — и все, всех-то делов!

Не встречая сопротивления, дед вскорости и сам замолкает и только по обыкновению, в такт своим тайным размышлениям, качает головой.

6

...Босым ногам горячо стоять на раскаленных камнях, я забредаю в воду. Вокруг меня скапливается стайка всевозможных мальков: бледнобокие ельчики, прынрливые голяшки, пеструшки-скромницы, задиристый окушок... Запускаю блесну в самую гущу — и рыбки в панике рассеиваются кто куда...

Спиннинг у меня особый — выстраданный. Через мои горячие слезы мать купила его в городе у толстого армянина, который значительно убавил цену и даже подарил моток лески и набор блесен. Удилище у моего спиннинга из желтого пластика, а ручка деревянная, резная, зеленого цвета. Спиннинг в три раза длиннее меня! Я уже владею им почти в совершенстве. Нет у меня вещи дороже! Вот только не везет мне пока с рыбалкой. Одну-единственную щуку поймал за всю жизнь. И случилось это нынешним летом, здесь, на Дресвяном лугу. Старшие косили у ручья, а я без усталости сек и сек реку прозрачной жилкой, но в лучшем случае ловил пучки зеленых водорослей. Когда же от поминутной неудачи я совсем перестал думать о рыбе, на леске повисло что-то тяжелое. “Опять трава! — уныло подумал я. — Вытащу и пойду к костру”. Каково же было мое изумление, когда, обратив взгляд на реку, туда, где леска ходила ходуном, я увидел огромную светло-золотистую щуку. Хищница всплыла на поверхность воды и покорно следовала за металлической обманкой, золотистым языком торчавшей из клякстаго изумрудно-блестящего рта. Ближе к берегу рыба заволновалась и стала выкидывать “свечки”. Обезумев от радости, я на буксир вытащил ее из реки и, опасаясь, что драгоценный трофей уйдет, пристукнул рыбину камнем по голове, как это делал дядя Коля. Забыв о брошенном спиннинге, прижав мертвый улов к груди, я бегом кинулся к табору, с восторгом думая о том, как в обед сразу всех своей рыбацкой удачей...

Сегодня мне не везет. Жалкая травянка кинулась из-за камня за блесной, но, проследовав за ней почти до самого берега, в последний момент вильнула хвостом и уплыла.

...Еще не дойдя до костра, слышу, как взрывает мотор, и лодка с Мишкой и дедом бегло скользит к противоположному берегу, за остроинами. Остроина — это длинная жердь, которую вкапывают в землю. Вокруг этой жерди кладется-наматывается сено, как пряжа наматывается на веретено. Каждое лето мы ставим новые остроины, потому что каждую весну ленивые рыбацки рубят и жгут прежние. А плавать за жердями нужно на соседний берег реки, где лес. На этом тоже лес, но идти к нему через широкое, не меньше километра, совхозное поле, засеянное овсом. А тут через пару минут

после того, как лодка ткнулась в левый берег, доносится стук топора, и вот уже “Казанка” жужжит обратно. Словно стволы пулеметов, нацелены в нашу сторону верхинки сосновых жердей. Помогаем вытащить из лодки пять длинных тяжелых жердей, уносим с берега на угор, где лежит давно высохшее сено — море светло-желтой умершей травы.

Страх берет от мысли, что все это нужно собрать. Но глаза боятся, а руки делают. И вот отец вешает на куст рубаху — белым бакеном будет она для нас, когда, измученные, поплетемся вечером от ручья к костру. Дядя Коля, подмигнув, подтягивает на штанах ремень, убирая крупный живот, а Мишка с дедом идут ставить остроины. Первую, как всегда, ставят неподалеку от ольхового куста, в низинке. От нее, как по ниточке, потянутся вдоль дороги к самому ручью наши копны.

— Забывай, Миша, покрепче колья, а то как бы не скovyрнулась остроина... — говорит по установившемуся порядку старик, боязливо поглядывая на проткнувшую небо жердь, другим концом уткнутую в лунку в земле.

— А я говорил: легче нужно было вырубать, тоньше. И куда торопимся?

— Тоньше, так она трюхи жидковата будет, Миша. Поведет копну, завалится.

— А эта шибанет по башке: ума нет, считай — калека!

— Так ты осторожней! — старик налегает на березовый кол, по-жабы надувая щеки и с одышкой отпыхиваясь, в намеченном месте чуть-чуть заогняет отточенное жало в землю. — Сдуру можно не только што... Забывай!

Вот и остроины поставлены. Сейчас начнется ломовая работа. Отец вынимает из кустов вилы с толстеньким черенком, за ним берется за вилы Мишка. Мы с дядей Колей должны сгребать маленькие валочки в один большой вал, который станут таскать в копну Мишка с отцом. А у остроины поставлен дед. Он руководит меткой конен. Грузный старик топчет сено долго, основательно, копна расплзается в лепешку, как тесто, и трудно поверить, что из нее что-нибудь выйдет. Но рассудительней всех дядя Коля. Он прихватил с собой стропу — длинную, метров двадцать, капроновую ленту. Он сворачивает ее вдвое и кладет на землю. Сверху набрасываем кишицу сена, стягиваем стропой и, взявшись за концы, волочем, словно ломовые. Сзади, упершись вилами в наш с дядей Колей воз, помогают Мишка с отцом. За один раз сена притаранено столько, что минут пять, пока метается эта ноша, можно отдохнуть. Но как же коротки эти пять минут!

Копна медленно, но уверенно растет. Вот уже и вилами трудно доставать до верхушки, неудобно подавать сено. Дед трусит оставаться наверху. Он ложится на сено, закрывает глаза и с обреченным выражением лица начинает сползать вниз по копне.

— Держите! — кричит надрывно.

Мишка с дядей Колей подхватывают старика и со смехом опускают на землю. Дед, жалуясь, медленно поднимается на ноги.

— И куда тебя, дедушка, гонит? — говорит сам себе, не ища ничего сострадания. — Попивал бы сейчас чай с мармеладом или прогуливался по угору в ботиночках, как студентик...

Я стараюсь поймать глазами взгляд отца: можно?

— Ну, давай, — отец втыкает в середину копны вилы. Я цепляюсь за черенок, под зад меня толкает Мишка, и вот уже я, как белка, вскарабкиваюсь на самую верхотуру. Встаю, и у меня начинает кружиться голова: высоко! Снизу подают вилы с коротким черенком. Плюю на ладошки.

— Середку больше набивай, — советует снизу отец. — Да за остроину держись, а то упадешь...

Больше ничего не вижу и не слышу: отец засыпает меня с головой. Я смеюсь; в рот и в нос попадает пыль; чихаю и поначалу не очень споро выполняю свою работу. Снизу, как раньше деда, торопят. В тон старику ору с копны благим матом:

— А не утопчешь ладом, прольет копенку дождями — опять переметывать?! — И уже категорично заявляю: — У меня времени не-ет!

Наконец дело совсем подвигается к завершению. Остаться на копне дальше — только верхушку ломать. Сбрасываю вилы на землю и с криком

“Разойдись!” скатываюсь следом. С видом победителя взираю на наше творение. Но что за уродство? Вместо прямой стройной копны, какой она казалась сверху, передо мной словно чучело Зимы, созданное ребятей на Масленицу. Незамедлительно делюсь переживаниями с дедом.

— Сейчас, — успокаивает старик. — Не все сразу — оскребем.

И дед граблями начинает аккуратно оскребать копну с середины донизу. Выграбленное сено Мишка забрасывает наверх вилами на длинном черенке. Копна на глазах превращается из неопрятного уродца в стройный церковный купол. Даже солнцу приятно передохнуть на таком — огненным петухом примостилось оно на самом кончике остроины.

— Ну вот, одна есть! — оглашает Мишка завершение работы. — Можно и перекурить.

Садимся на пригорке, у кустов. Только дед еще возится: чтоб крепче копна стояла и не завалилась, подправляет с боков граблями, черенком забивает под копну оставшиеся клочки сена.

— Все-то он оглаживает, все-то он прихлопывает! — залиvisto смеется дядя Коля.

Дед сердито, с матерком, сплевывает, но тоже не может удержаться: хихикает.

— Потеха!

Отец недоволен. Покусывая соломинку, скептически рассматривает со-творенное.

— Ты с Перевеса готов все сено стаскать в одну копну! — без обиды, скорее с тайным восхищением, замечает Мишка.

— Я бы вообще зародами метал!

— Раньше так и делали, — с хрустом в износившихся суставах опускается на землю дед, подгибает под себя правую ногу, чтоб удобнее было сидеть. — Заметывали сено на деревянные сани, потом зимой — по снегу — вывозили. Сани с лета на чурки ставили...

— Зачем?

— А чтобы полозья к земле не примерзли. Не сдернешь, если пристынут. Несколько тонн-то! Попробуй-ка. — Громко, с подвывом, зевает, обнажая ряд серых, но еще крепких зубов. — Или на волокушах вывозили. Свалят две-три березы вершинами вместе, в комлях циндровкой просверлят, трос стальной проденут... — Это дед уже для меня, чтобы знал, как да чего было. — Наметают зарод, потом вывозят — по снегу ли, по земле ли. Все больше зимой, конечно, занимались. По черной земле тартать — до самого-самого изотрется. Хотя ее, волокушу, все равно на дрова потом пилили. Второй раз не поедешь с ей...

— Почему?

— В лес кто дерево повезет? — снисходительно, как несмышленому, разъясняет и Мишка. — Думать надо!

— Вымирает народ, — непонятно для чего сказал отец. — Все уходит в прошлое. Написать бы об этом книгу — сколько у меня материала собрано! — да грамотешки не хватает...

Отец по старинке наивно верит, что “грамотешка” дается в городе, в университетах, что тамошние ученые мужи о происходящем в деревне знают не хуже его и тягаться с ними деревенскому пеньку нечего, так, черкнуть когда статью в газету...

7

Близится вечер. На западе по окаемку горизонта проползает медная змея заката. И уже шуршит слева от нас, на скошенной поляне.

— Змея!

Одним махом Мишка оказывается рядом, прижимает гадоку к земле кирзовым сапогом.

— Найди бутылку!

Момент — и я на берегу, а уже через минуту лечу назад с пластиковой тарой.

— Крышку открой!

— Наденьте ей горлышко на голову — она дальше сама заползет...

Змея упирается, грозит вырваться из плена, но как только голова оказывается в бутылочной горловине, сама покорно залезает в тару. Мишка заворачивает крышку и бросает мне бутылку.

— Растопим на солнце, а зимой капканы на соболей ставить будем.

Свернувшись клубком, змея дерзко смотрит на своих врагов, бросается и пыгается укусить четырехзубой пастью стенку бутылки, когда я стучу в нее пальцем.

— Тоже жить хочет, — между прочим говорит дед.

— Ну дак, — хмыкает дядя Коля. — Тебя бы так!

— А што, мне лучше?..

Ставлю бутылку на солнце.

— Это ты же рассказывал, дядя Коля, как змея тебя в болотник укусила?

— Ну, укусила, — подтверждает дядька. — Тоже по ягоду ходил. А змей было в том году! Високосный год был, как щас помню. Всюду змеи кишмя кишели — пропасть! Я болотники расправил и хожу вдоль валов, смородину собираю. Как она меня не заметила? Я ей на хвост наступил, а она меня в болотник — раз! — куды там, не прокусила! Только белые капельки остались...

— Че это? — интересуется дед.

— А яд.

Некоторое время молчим. Тишину нарушает старик:

— А вот у меня случай был со змеей (я еще мальчишкой был). Нас много, ребятишек, косило здесь вот, на Дресвяном. Дед с нами был за главного, лет девяносто было ему, а он все косил. Вот взялся он вечером литовки отбивать, а я пособлял ему, косовица держал, — другие-то ребятишки спали уж... — Дед чешет переносицу, потом большую, заросшую волосом, черную родинку на крупном носу. — А тут змея! Как из-под земли, честно слово. Я-то ее вижу, а дед — забыл, как зовут? — не видит. И словно онемел я, слова сказать не могу, предостеречь, значит, старика. А она залезла деду в ичиг — тогда круглый год в ичихах ходили — и укусила. Нога к утру распухла, ичиг разрезали...

Дед замолкает и, достав платок, начинает громоподобно сморкаться.

— А со стариком что стало?

— Умер, што стало. На лодке мы его сплавливали в деревню... — Дед тяжело, бочком, упираясь локтем в землю и кряхтя, поднимается на ноги. — Пойдем, однако, времени у нас мало, а работы непочатый край...

8

К закату ставим три больших копны.

Когда завершаем последнюю копешку, валось под кусты смородинника. “Будем сегодня метать еще или уж завтра? Хорошо бы, если завтра, а сейчас — домой! Сегодня суббота, банный день. Приятно после бани поваляться на диванчике, посмотреть, как в телевизоре копошатся доны, доньи и ихние доньчата, занятые каким-то смешным трудом. Дома прохладно, квас в холодильнике, окрошку, наверное, приготовила мама к бане...”. Но все мои надежды рушатся, когда раздается голос деда:

— Время есть, сметаем еще одну вон у той березы...

Каночу:

— Ну дед!

— Что дед? — гнет подковы-брови старик.

— За-автра!

— Тихо! — говорит Мишка, настораживаясь. Объявляет: — Восемь часов — “Благовещенск” идет.

Да, это он! Каждый день он проходит мимо Дресвяного луга, маня и волнующая мое детское воображение. Его еще не видно, но уже отчетливо слышно, как он идет-гудит за поворотом реки, летит-доносится его веселая музыка. И тем волнительней она здесь, где только и слышно, что шуршание сена да тя-

желое, учащенное дыхание работающих на износ людей. Вот он медленно, величаво является нашим взорам, большой и ослепительно белый. Уже можно прочесть его гордое имя, написанное на боку большими черными буквами: БЛАГОВЕЩЕНСК. Он вещает благую весть. В чем заключена его благая весть? Я не знаю, в чем, но всякий раз, как его вижу, у меня спирает грудь, сжимает сердце. О, как бы я желал плыть на этом теплоходе! Я с завистью гляжу на него, на счастливых, непонятных мне в своей беспечности людей, вышагивающих по палубе, а в голове толчками взволнованной крови стучится мысль о какой-то иной, неизвестной мне жизни. Что видел я в свои двенадцать лет? Каким одиноком я чувствую себя в этот момент на душевной и затравленной, поставленной — как говорит отец — на вымирание крестьянской земле. Как мелки и незначительны, как бессмысленны дни моей серой деревенской жизни, когда плывет нарядный теплоход и люди на нем пьют из сверкающей посуды дорогие напитки. А “Благовещенск”, словно нарочно красуясь передо мной, так и скользит по голубой ленте реки. Шлепают о воду “лапги”, является, как птенец из гнезда, красный свисток над тонкой трубой, и реку и луга оглашает громкое приветственное “Гу-гу-у-у”...

— Бла-го-ве-щенск! — как заклинание, повторяю запекшимися от волнения и жажды губами.

Возле Дресвяного луга река Лена, стянутая корсетом брустверов, тончает в талии. Теплоход помалу загребает в сторону нашего берега, где глубже, и через некоторое время становится настолько близким, что кажется: еще немного — и черканет железным брюхом о каменную кромку. Вот уже и люди на палубе видны так ясно, что малым усилием глаз можно угадать их черты. Я бессмысленно скольжу взглядом по незнакомым лицам: вот большие, смешно опущенные к подбородку усы, вот туго обтянутая платьем грудь дородного вида женщины, а там, в отстранении от остальных, в светлых одеждах пожилая пара рука об руку, совсем не похожая на моих бабушку с дедом... Тут жадный взор мой натывается на мальчишку в желтой панамке на голове, с мороженым в руках, которое, конечно же, закупили еще в городе, потому что у нас в деревне мороженого нет. Его, наверное, хранили для него в какой-нибудь специальной морозильной камере, установленной на теплоходе, а иначе, конечно, оно бы растаяло... Нет, вот он не так ест, как надо бы, лизнет раз-другой и пялит на нас три часа. Я бы, конечно, не стал размузывать! Я не вижу, но догадываюсь, что мороженое, подточенное солнцем, капает на корму. От этого мне становится не по себе, как будто самое сердце мое иссякает по капле. На ногах у мальчишки пижонские сандалики — и я с вызовом ложного превосходства и обиды смотрю на него, сквозь зубы сжеживая на раскаленную резину сапог тягучую пишу. Мне хочется крикнуть желтой панамке что-нибудь обидное, но я не знаю, чем можно обидеть городского мальчишку.

Завороженные, мы смотрим на теплоход, как на загадочный призрак, судно с другой планеты. Отец козырьком приложил ладонь ко лбу, защищая очки от солнечного света. Временами он впечатленно хмыкает и с досадой рассекает рукой воздух. Дед оперся о черенок воткнутых в землю вил и подслеповато щурится на “Благовещенск”.

— Интересно, сколь билет стоит на эту хреновину? — требовательно оглядывается на нас, устремивших любопытные взоры на теплоход, но ответа не дожидается. — Тыщи две-три — не меньше, — говорит уверенно и снисходительно смеется. — Как раз наши с баушкой две пенсии!

Мы не обращаем внимания на старика, потому что женщина в старомодном голубом платье, каких давно нет даже у наших деревенских дев (наверное, мать этого глупого мальчишки), помахала нам с палубы. Дядя Коля снял с головы засаленную кепку и со смехом машет ею в ответ.

— Приезжай к нам! — кричит, сверкая белками озорных глаз. — На рыбалку пойдем с ночевой!

Женщина тоже что-то кричит и весело смеется. Речной ветерок до колена обнажил белую ногу, вынутую из туфли и поставленную на металлическую решетку бортов. Как занавес, расходятся голубые полы и властно приковывают к себе мой смущенный взор. Мне кажется, будто я отчетливо

вижу нежные лодыжки, там, где остался розовый след от ремешка туфли, едва-едва тронутые загаром. А в голове моей возникают литые, оплывающие густым соленым потом, словно бы обуглившиеся плечи отца...

— Лаптежник! — презрительно говорит Мишка. — И смотри, дядя Коля, бегаешь еще!

— Ну дак! Тебе скипидару налить в одно место — тоже побежишь!

— Такие уже не делают теперь... — роняет отец.

Дед поправляет на голове платок из куса наволочки, не без гордости вспоминает, должно быть, самое яркое событие своей жизни:

— Я тоже плавал! Молодым ишо. Поплыли с Михаилом Шишкиным в Якутск — учиться на сапожников. Председатель, Мишкин отец, выписал нам справки... В Осетровском порту грузились баржи, мы воровски пробрались на пароход “Полина Осипенко”, — денег-то на билет не было, откуда они — деньги? — спрятались за ящиками и поплыли! — Дед тоненько, с матерком, смеется и покачивает головой, порицая себя за молодецкую непутевость. — Нашли нас, хотели ссадить на берег. Ну, упростили мы капитана, дозволил нам плыть. А пароходы-то на дровах ходили, вот мы с Шишкиным целыми днями-ночами и пихали лесины в топку... Двадцать два дня плыли! А через полгода возвращались в рубашке да в кальсонах. Доскреблись до Киренска — снег пошел. Мать-перемать, думаю, понесет шугу, и станем посреди реки! Но, доплыли кое-как. Я в Казарках вылез, а Шишкин до Осетровой проплыл — стыдно ему было в деревне в таком виде появиться, а в городе у него тетка жила. Пришел я огородами к дому родителей... Худой, обовшивевший, в руках фанерный чемоданчик... — Иронично сплюнув, громким, весело-нравоучительным голосом старик заканчивает: — И сапожниками не стали, но свет повида-али!

Я не слышу старика. Я жадно смотрю на теплоход, который уже далеко от нас. Вскоре он пропадает за поворотом реки, но еще долго доносится до Дресвяного дуга его крылатая музыка. Туда, где растаял “Благовещенск”, забредает по самые бока уставшее солнце, роняет в воду желтые капли пота... Мы молчим. Молчит дуг. Только в траве строчит свою песню-стежку саранча, да в реке, гоняясь за мальком, бухает хвостом о воду жирующая щука. И вдруг до нас долетает “Гу-гу-у-у...”, но уже грустное, прощальное. Я срываюсь с места, бегу, падаю, запнувшись за толстые стебли свиного борща, расцарапываю голое тело о ветки шиповника.

— Ну, и куда этот пошеленец побежал? В Пушкино?

— Я его завтра дома оставлю! — заверяет отец, но я знаю, что не оставит, потому что уже не раз обещался — и не оставлял.

— Да успокойтесь вы! Привыкли, чуть чего — орать! — вступается Мишка. — Пойду, схожу за ним...

— Ты сам-то не кричи только там! — советует отец, когда Мишка спускается под угор. — Действительно: хватит, батя, доорались уже...

Мишка находит меня на бруствере, пристраивается рядом на камень и — молчит. Пуская блинчики по воде, заинтересованно считает касания. Долго смотрит на течение...

— Светлеет вода... К сентябрю вообще прозрачной будет, как родник. Белая блесна уже не пойдет — красную надо. Или желтую, из латуни. У тебя есть латуневая?

— Нету, — хмуро буркаю в ответ.

— Подгоню тебе. Я до армии занимался — делал такие. Есть там одна уловистая — сколько щук перетаскал на нее! Мне-то она...

Пристыженный наивной слабостью, возвращаюсь с берега на угор. Следом Мишка стучит сапогами по камням, задумчиво щурится. “Подожгу все их сено!” — рождается во мне злая мысль, но уже через миг я стыжусь ее. Молча встречают меня дедушка, отец и дядя Коля. Стараюсь не глядеть им в глаза, а они, словно обо всем ведая наперед, ни о чем не спрашивают. Так же, безмолвствуя, идем к ручью, где предстоит сегодня сметать еще одну копну. Остановившись у последней остроины, иголкой воткнутой в зеленое сердце земли, дед вполголоса бормочет:

— Живут же люди...

И снова — молчание. Каждый думает о своем, сокровенном...

Этот мир устроен неправильно — уж во всяком случае он создан не для меня, и все больше я в этом убеждаюсь. Только ближе к ночи проклятая мошкара, изготовившись спать, начинает нерешительно оседать на стеблях травы. Когда в ушах наконец смолкает надоевшее за день гудение и становится возможным смотреть вокруг без прищуря, мы отчаливаем домой. Лодка бежит-скользит по вечерней реке, встречным ветерком ласкает пыльные, испепеленные солнцем лица. Вот она, долгожданная прохлада! Солнце скрылось; в горниле распадков дотаивают последние алые головешки. И вот уже легкие синие сумерки марают стволы деревьев и кромки остающихся позади берегов. Взлетают потревоженные моторкой красноголовые крохали, но тут же пропадают в тиши и блеклой неясности подкрадывающейся ночи. Высвечивает на далеком небосклоне одинокая звезда... Дед лег на дно лодки, укрылся телогрейкой и тихо дремлет. Не замечаю, как и сам начинаю клевать носом...

И снится мне белый теплоход. Он плывет по утренней реке, полный дерзких помыслов и надежд. По палубе теплохода чинно гуляет нарядное общество людей, избранных, отмеченных честью плыть на этом судне. Они смеются, пьют из хрустальных бокалов и наслаждаются музыкой, неторопливо льющейся из репродуктора. На носу теплохода стоит обворожительная женщина в голубом платье. Прохладный речной ветерок пенит ее легкие вьющиеся волосы. Хрупкий, смущенный мальчик прижался к ней и боязливо смотрит за корму. Весело играет вода за бортом, проносятся мимо редкие осенние листья. Со всех сторон высятся горы и желто-красные леса; изредка мелькнет и исчезнет за поворотом одинокая деревушка... Вот начинают попадаться луга и серые от прошедших дождей копыны, легкий парок взвивается над ними. Один из этих лугов мальчику до боли знаком. Несколько человек стоят на скошенной поляне и машут мальчику руками, но так машут, словно навек прощаются с ним. До рези в глазах вглядываясь в лица этих людей, — он вдруг узнает их! Сам не замечает, как поднимает руку и тоже машет им на прощание. Играет музыка, теплоход шлепает “лаптями” по воде, но сквозь шум долетают с берега слова: “Будь счастлив, милый, в той далекой стране!”

Тут я просыпаюсь и тихо плачу. Мне очень жаль этого мальчика. Дед расценивает мои слезы по-своему:

— Замерз? — приподнимает край телогрейки. — Лезь под стяженку...

Забираюсь к старику, успокаиваюсь и снова засыпаю.

В темноте лодка упирается в берег, где еще днем купали в реке иконы отчаявшиеся старухи, а сейчас только синяя темь воды. Дед корячится, кричит, не может спросонья вылезти из лодки, то одну, то другую ногу неуверенно перекинет за борт, но тут же боязливо одергивает назад.

— Ты так скоро на старуху ногу закинуть не сможешь! — крупно содрогается животом дядя Коля.

На лавочке, как обычно, сидит в одиночестве бабушка: ждет. С нашим появлением встает — вспухшие веретями жил руки скрещены на животе, связка ключей оттягивает карман выцветшего платышка. Подсобляет — берет у старика грабли.

— Че, баушка... как картоха? — уморено переставляя кирзовые сапоги, спрашивает с тяжелой одышкой дед. Старуха вздыхает:

— Несколько кустов подкопала — две-три балаболки...

— Худо. Картоха — продукт!

Я иду позади всех. У ворот останавливаюсь и смотрю туда, куда скрылось солнце. Темно. В небе лежат крупные звезды. За рекой, на опушке леса, загорается длинноногая створа. Красный огонек призывно мигает уставшему миру...

И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом, ушедшим вверх по течению, закатилась за горы часть моей жизни и что такого дня, как сегодня, больше никогда не будет.